

Максим Осипов
Фигуры на плоскости
повесть

Английское начало

Неглубокая старость: семьдесят, семьдесят пять, — живи и живи, да и старость ли? Многие из участников нынешнего турнира доживут до девяноста, а то и до ста, но, конечно, не утро жизни — все определилось, сбылось. Им повезло: они живы, располагают средствами, жизнь удобная, неопасная. Когда-нибудь произойдет решительный проигрыш, всякая жизнь заканчивается поражением, попросту говоря — заканчивается, но это справедливо, необходимо даже, не правда ли? Привычно, во всяком случае. Об этом не принято говорить в их кругу.

А пока — почему бы не встретиться, не подвигать фигуры? Списывались, договаривались, скидывались на турнир, каждый год. Девяносто шестой — Филадельфия, девяносто седьмой — Провиденс, в прошлом, девяносто восьмом, был маленький Вильямстаун на северо-западе Массачусетса: не в последних, прямо скажем, местах великой своей страны — как в песне поется, «пристанища смелых, земли свободных» — собирались пожилые любители шахмат. В этом году пришла очередь Сан-Франциско, один из участников все устроил: пансионат, зал для игры. Вместе в день отдыха выбрались в Симфони-холл, вместе проехали по окрестностям.

Играли в доме ветеранов военно-морского флота, обходились без судей — сами были и зрителями, и судьями, и организаторами. Иногда посмотреть на игру заходили участники второй мировой, корейской, вьетнамской: в ушедшем веке Америка изрядно повоевала — сильная, большая страна. Столики в два ряда, шестнадцать участников, каждый встречается с каждым, три тура — день отдыха. Число шахматистов в иные годы доходило до двадцати, кто-то выбывает, появляются новые — плати взнос и, как говорится, добро пожаловать.

Стук фигур, неяркое освещение, одиночные тихие реплики — болтать за доской не принято. Курить, разумеется, запрещено, да никто и не курит: они себе не враги. Запах кофе, натертых полов. Вечером — совместное заполнение таблицы, определение самой красивой партии, ее разбор. Приятный, тонкий мир шахмат.

Все, однако, заканчивается, закончился и турнир, и теперь его участники разлетаются кто куда: на север — в Сиэтл, на юг — в Сан-Диего, на Восточное

побережье. Расстаются тепло, хоть турнир получился в этом году особенный, скажем так.

В Нью-Йорк отправляются двое, рейс вылетел с небольшим опозданием. Экономический класс заполнен процентов на семьдесят, в первом — лишь два пассажира, и оба наших, с турнира: Алберт А. Александер, бывший посол в Норвегии, титул посла остается пожизненно, и Дональд, промышленник, коротко — Дон.

На Алберте — светлые брюки, розовая рубашка, синий однобортный пиджак. Дипломатическая выправка, репутация миротворца. Посол элегантен, даже красив. Им любят, его любят, шахматист он посредственный.

Дон прожил жизнь, первые семьдесят пять с половиной лет, шутит он, по-другому: подшипники продавал. Любим мы, англосаксы, преуменьшать, занижать: король рынка, гроза конкурентов, заводы в Малайзии, в Южной Америке, в других отдаленных местах. Пенсионеры в его положении гуляют по цитаделям европейской цивилизации в длинных шортах и в кепках-бейсболках, повернутых козырьком назад, окружающим на потеху, клоуны. Не таков старина Дональд, крепыш Дон, один из сильнейших игроков на турнире, бессменный его казначей. Несмотря на порядочный вес, каждое утро бегаёт — самый быстрый толстяк из тех, кого нам пришлось встречать.

О чем говорят эти двое? Ясно без слов, что по многим пунктам — молитвы в школах, однополые браки, продажа оружия, что у нас еще есть? — запрещенные аборты, смертная казнь, реформа здравоохранения — они расходятся. Парадокс — демократия отвратительна, но лучше нее ничего не придумано, — это они твердо усвоили, особенно дипломат. Но главное — оба, Алберт и Дон, хорошо послужили и семьям своим, и Америке.

А вот турнир, не только на Дона с послом — на всех, произвел удручающее впечатление. Две новости — на «А» и на «Ай», с которой начнем? Давайте на «А» — Альцгеймер: бедняга Левайн, Джереми, славный малый, хранитель традиций, чудовищно сдал. Не забыл еще, слава Богу, как ходят фигуры: дебюты разыгрывает уверенно, автоматически, а дальше все у него разъезжается. Соперники, отводя глаза, спешат предложить ничью. Десять-двенадцать ходов, и — ну что, согласимся, Джереми?

Он и всегда-то был человеком приветливым, а теперь непрерывно смеется таким застенчивым мелким смешком. Честное слово, не по себе от него: седой ребенок, кого-то еще узнает, но и это, все понимают, закончится — трудно сказать, когда, — болезнь Альцгеймера развивается непредсказуемо.

— Меня он узнал, — утверждает посол.

Дона такие вещи не трогают:

— Это не заслуживает обсуждения.

Его возмущает не Джереми — что же, бывает, болезнь, — а Кэролин, жена его: шахматы — не богадельня. Ее, этой самой Кэролин, было действительно много: «голубчик», «мой сладкий», зовет она Джереми, Кэролин неотступно с ним — от шахмат до перемены памперсов.

— Всю жизнь крутила им, как радиомоделью. А компьютером пользоваться не научилась. Представляете, Ал, я ей письма обычной почтой вынужден отправлять.

Кэролин верит, что погружение мужа в шахматную среду затормозит его слабоумие. Джереми, с ее слов, вернулся чуть не на год назад.

— Славный итог нашей деятельности, — усмехается Дон. — Стоило ездить в такую даль.

Им приносят еду. Разговор продолжается.

— Если у тебя нету ног, не занимайся лыжами, — заявляет Дон. — Я противник всех этих олимпийских игр для калек.

— Мне вы, Дон, можете это сказать но я б не рискнул заявить подобное перед более широкой аудиторией.

В любом случае — бесчеловечно исключать старого товарища из игры. И вообще — посол машет рукой — интересней, знаете ли, процесс, а не результат. Еще бы, думает Дон, с таким уровнем, какой ты в последние годы показываешь...

— Дон, вы ведь тоже сделали с ним ничью?

Сделал. Вопреки убеждениям.

В самолете — своя логика прекращения-возобновления беседы. После еды стариков клонит в сон.

Будет нормально, спрашивает Дон, если он немного поспит? А потом они поговорят про Айви, про русского, серьезная тема, что-то надо решать. Дон прикроет глаза, задернет на некоторое время шторы, побудет в своем. Там, у Дона внутри, по доске передвигаются шахматные фигуры, друг друга едят, часы тикают: кто-то в выигрыше, кто-то в проигрыше — все справедливо в мире, в котором хотел бы жить Дон.

Посол тоже подремывает. Под самолетом — Америка, страна великих возможностей, лидер западной цивилизации, ее камертон. Скоро, посол знает, к ней подтянутся и другие страны, и хоть милый его сердцу европейский шарм канет, конечно же, в прошлое, жизнь на планете сделается гуманней и лучше. Образец разумной самоорганизации — их турнир, такие чистые, бесконфликтные, идущие от сердца каждого участника начинания — редкость в нынешнем мире. Лучше любой политической партии, любого общественного движения. Посол в своей жизни видел много тяжелого, неприятного, много политики, он свое знание выстрадал.

Обслуживание в первом классе, пожалуй что, даже избыточное. Господам предлагают десерт. Шоколадный мусс. Дон не хочет. Мусс — это что такое? Вроде желе? Дон не любит желе, он не любит того, что дрожит.

— У меня от этого были сложности с женщинами, — Дон хохочет.

Правда, смешно. Он, посол, всю свою жизнь любил одну женщину — собственную жену. — Дон, разумеется, тоже. Но когда-то, когда он был в колледже... — О, в колледже мы были все полигамными.

Самолет потряхивает, не до сна. Велено пристегнуть ремни. Внизу большая река.

— Миссури какое-нибудь? — предполагает посол.

— Не какое-нибудь, — ворчит Дон, на Среднем Западе он провел много лет.

Посол поднимает руки, элегантно, как все почти, что он делает. Средний Запад — вотчина Дона, он, посол, жил исключительно на Востоке — Вашингтон, Нью-Йорк.

Поговорим о русском, о Мэтью Айванове, об Айви? Так прозвала его Кэролин, жена бедолаги Джереми: poison ivy — сильнейший растительный аллерген, ядовитый плющ.

— Уже потрогали ядовитый плющ? — осведомляется она у каждого старичка.

Потрогали, его все потрогали. Мэтью Айванов — новенький, победил в турнире. Пятнадцать партий — четырнадцать выиграл и ничья. Дело не в призовом фонде — все получал победитель — дело в отношении русского к шахматам и к другим игрокам.

С Мэтью никто ни разу не разговаривал. Перед партией — рукопожатие, hi, и в конце короткое — всё, сдаюсь. Мэтью кивнул, руку пожал, отбыл. В вечерних анализах не участвовал, не говоря уже об экскурсиях. Вчера на ужине взял свой чек, диплом в рамочке и — всем спасибо, пошел. Что теперь с тем дипломом? Запросто может быть, что и выкинул.

— Ал, как вам кажется, он вообще — любит шахматы?

— Они его точно любят. Больше, чем нас с вами, Дон. Видели нашу партию?

Нет, Дон не видел.

Алберт вздыхает: когда играешь с теми, кто сильнее тебя, то и сам подтягиваешься, показываешь все, что есть. Но ему в поединке с Айви стало нечего делать уже хода после девятого. В плохой позиции все ходы никуда не годятся.

— Откуда он, этот русский, взялся? — Дону хотелось бы знать.

Посол пожимает плечами:

— Эмигрант. Им у нас хорошо.

— Ну, да. Кормим их. — Дон недоволен: — Америка — самая свободная в мире страна. Слишком свободная.

— В Европе тоже есть свободные страны, — примирительно говорит посол, улыбается одной из лучших своих улыбок — для своих, для союзников.

Дон не был в Европе. Послу это странно: надо бы съездить.

— Советуете? А зачем?

Как объяснишь? Есть замечательные места.

— Дон, а вы? Сколько вы продержались с Айви?

Во-первых, это была первая партия на турнире. Во-вторых, Айви играл белыми. В-третьих, перед первым ходом он думал двадцать минут.

— Часы тикают, передо мной на стуле — незнакомый молодой человек. Сидит и думает. Голова опущена, глаз не видно. Это что — издевательство?

— Полагаю, серьезное отношение к делу. Он прислушивался к себе: в настроении ли действовать агрессивно или же обставить вас в позиционной борьбе. Айви — большой мастер.

В конце концов молодой человек пошел с4. Английское начало. Дон ответил е5.

— «Обратный дракон»? — произносит посол с удовольствием.

Дон кивает. Все шло по теории. Быстро диктует ходы.

— Знаете эту систему?

— Да-да, разумеется, — посол знает.

Не знает он ничего. Дон, когда руководил своими заводами, многих бед избежал, потому что чувствует, когда ему лгут. Он приходит во все большее раздражение:

— Я готов страдать, но дайте мне за мои страдания хоть какой-нибудь материал! Нет, давит, давит, играет, как автомат! Мне семьдесят пять, я не могу считать так, как он! Большой мастер! Вижу, он вам понравился.

— Да-а... — Посол подыскивает слово, давно им, конечно, найденное. — Есть в нем такая, знаете ли...

Он хочет сказать — «размашистость», но Дон перебивает его:

— Скажите прямо — авантюрист. Я проверил: нет шахматиста по имени Мэтью Айванов.

— Дон, у них свой алфавит. Помните, на майках — си-си-си-пи?

— Деньги нужны вашему си-си-си-пи, вот что!

— Деньги? Зачем Мэтью деньги?

— Ал, зачем человеку деньги?

— Мне это, откровенно говоря, не приходило в голову.

Что он, думает Дон, спятил? Как Джереми?

Зачем же они, раз им деньги нужны, размышляет посол, политику свою так задешево продали?

— Русские много страдали в нынешнем веке, — произносит посол задумчиво.

— Этот, что ли, страдал?

Посол продолжает:

— Я, возможно, не должен вам сообщать эти сведения, но несколько лет назад русские продали свою внешнюю политику за сумму в миллион, поверьте мне, в миллион раз меньшую, чем мы готовы были им заплатить.

Оба молчат в удивлении. Дон — от размеров суммы — надо же! — миллион — единица и шесть нулей, каковы же наши возможности?! Дипломат — оттого, что Дону это все рассказал.

— Я понимаю, — прерывает молчание посол, — требуется сохранить турнир. А не упразднить ли нам призовой фонд?

— У нас не богадельня, Алберт. Мы не против сильных игроков, нет. Надо только, чтоб они вели себя подобающе.

— Значит, — вздыхает посол, — придется писать регламент, устав, правила. И не так, как сейчас: победителю — всё, а, — изображает рукой ступенечки, — восемь тысяч, пять, три. Первое место, второе, третье.

— Да, да, придется, — кивает Дон. — Будьте уверены, в следующий раз к нам заявятся трое таких, как этот... как Айванов. Из вашей любимой си-си-си-пи.

Дон прав: конечно, их детище, их затея, турнир, — под угрозой. Там, где приходится устанавливать правила... Теперь это повсеместно, даже в семейной жизни. Вот живут они с Доном со старыми женами безо всяких письмен-

ных обязательств. Надо бы встретиться всем четверым в Нью-Йорке, в Карнеги-холл или на «Янкиз» сходить... Потом пригласить их к себе, показать коллекцию. Посол собирает сов — фарфоровых, глиняных. Есть и несколько превосходных чучел. Сова — символ мудрости.

— Дон — любимая река русских. Возможно, это вас с ними как-нибудь примирит. Quietly flows the Don, — произносит он с удовольствием — «Тихий Дон». — А вы, Дон, совсем не тихий. — Посол щурится в иллюминатор, что он там думает разглядеть?

И тут случается маленькое происшествие. Сзади — там, где в салоне первого класса расположен ватерклозет, — раздается шум. Туда быстро проходит молодой человек, запирает за собой дверь. Стюардесса виновато смотрит на пассажиров, разводит руками: бывает. Остальные туалеты заняты, кому-то внезапно приспичило, вот и рвется он в первый класс.

Вскоре, как-то уж слишком быстро, слышится шум воды, молодой человек выходит из туалета, и Дон с Албертом видят, что это сам Мэтью Айванов. Заметив недавних своих соперников, он улыбается, у него очень белые зубы, но улыбка все равно получается нервная, жалкая.

Тут и Дон, и посол производят какие-то движения и восклицания, а тем временем Айванов занимает кресло второго ряда возле прохода, наискосок от Дона с послом, хотя поначалу он вроде бы даже отпрянул, — видно, ему не хотелось встречаться со стариками, но и бежать от них тоже показалось неправильным. Единственным, кто мог сделать приглашающий жест, был посол, не Дон и, конечно, не стюардесса. Та попыталась прогнать незваного гостя назад, в хвост, но, заметив, что он, по-видимому, знаком ее подопечным, остановилась. Молодой человек тоже, если и проявил агрессию, то поначалу — лишь к ней.

Почему бы ему, собственно, не посидеть в широком удобном кресле, а? — спрашивает он первым. — Потому что у него билет в экономический класс, говорит стюардесса. — И что же? Разве он кому-то мешает? Разве лишает других хоть части приобретенных ими удобств? — Тем не менее, говорит стюардесса, это несправедливо. Несправедливо по отношению к тем, кто сидит в экономическом классе, и особенно — к купившим билет в первый класс. Несправедливо и аморально.

— Аморально! — чему это молодой человек так рад? — Господин Александер, — обращается он к послу, — вы поддерживаете это мнение?

Посол разводит руками. Можно понять его жест по-разному.

— Ясно, что не положено, но — аморально?! — Молодой человек воодушевлен. — вспомните про работников в винограднике: «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» Посол, знаете эту историю?

Дон — как-то мало он участвовал в ситуации — бьет с размаху по столику:

— Леди права. Это несправедливо. — Красный, сердитый стал, как когда продавал подшипники.

Молодой человек поднимается. Посол сухо ему говорит:

— Мы уважаем ваше умение играть в шахматы, Мэтью, и были бы рады продолжить знакомство. Но, вы видите, не сейчас. — Он все-таки пробует

улыбнуться: — Желал бы я знать русский язык не хуже, чем вы английский! У вас были отличные учителя.

Молодой человек произносит:

— Да, превосходные. И учебники — высший сорт. Как сейчас помню: «Что это за шум в соседней комнате? Это мой дедушка ест сыр».

Алберт — опытный дипломат, умеет держать удар. Сейчас он придумает, что ответить. Но отвечать не приходится — молодой человек ушел.

После отбытия гостя старики пробуют склеить разорванный им разговор.

Дон спрашивает:

— Что за басня — про виноград?

— Притча. Кажется, от Матфея. Мэтью. Вот ведь! Проклятие.

Их основательно встряхнуло последнее приключение. Все-таки пожилые люди.

— Откуда такое знакомство с Писанием, Алберт?

— На дипломатической работе, — отвечает посол, — волей-неволей сделаешься демагогом. — Постепенно обаяние его восстанавливается.

Самолет приступает к снижению. Скоро в иллюминаторе показывается статуя Свободы — мощная женщина с книгой и факелом. Спинки кресел приведены в вертикальное положение.

— Кормим Бог знает кого, — повторяет Дон, глядя на статую из-за плеча соседа.

Посол тоже смотрит на огромное изваяние — никто-то этой бабе не нужен, думает он, ничего-то у нее не дрожит.

Дон спрашивает:

— А вы, Алберт, какую религию практикуете?

Дипломат отвечает с внезапной грустью:

— Я не верю в Господа Бога. — И прибавляет зачем-то: — Сэр.

Один—один

— Анатолий Владимирович! — Я не сразу понял, с кем говорю, а уж по отчеству меня называли лет двадцать назад, и то в основном менты.

Говорит: Матвей. Путанно объясняет, откуда у него мой номер. — Ах, вы сын... — Да-да, сын.

Растерянный молодой человек: в чем-то мы, видно, уже не оправдали его ожиданий. Когда уезжаешь, теряешь не родину — за границу: между прочим, собственное мое наблюдение. Спрашиваю Матвея, как там отец? — Ничего, говорит, пока жив.

Я позвал его, он пришел.

Мы сидим в моей съемной квартирке-студии на Стэнъян-стрит, возле парка. Вдоль стены — коробки. Мы очень мобильны тут. Американцы — мобильная нация.

У меня недавно книжка вышла — «Искусство жить: взгляд психолога», так можно на русский перевести. Издал за собственный счет. Была хорошая критика, в университет позвали, с обещанием постоянной позиции. Университет не самый, мягко говоря, знаменитый, да и мне не особенно нравится со студентами, но приходится делать то, что дают.

Матвею тоже никуда от реальности не уйти. Он вяло кивает. Вот уж чего в отце его не было — вялости. Значит — в мать? Все равно почему-то этот Матвей вызывает мой интерес. Я в последнее время мало общаюсь с людьми.

Закончил ИнЯз, Мориса Тореза, — увы, иностранными языками никого тут не удивишь. Английским в особенности. А улыбка хорошая у него — тоже может помочь. Не помню я, чтоб отец его особенно улыбался. А мать его я вообще не помню. Улыбки улыбками, но дело так не пойдет.

— Не освоить ли вам, Матвей, программирование?

— Наверное, — говорит, — придется.

— Позвоню-ка я по вашему поводу нескольким людям.

Матвей кивает:

— На всякий случай моя фамилия Иванов. Здесь произносят «Айванов».

Фамилия матери? Головой мотает — нет-нет. Это уже интересно. Сменил фамилию. А где он живет? — Тут, говорит, в городе.

— Где, где именно?

— Двадцать пятая авеню и... — замялся.

— Двадцать пятая — длинная. Что, на Утесе?

Ладно, понятно все. У Мার্го-Маргó? Угадал?

Не Маргарита, не Рита — Мার্го, Маргó, Маргоша — одного какого-нибудь варианта так и не установилось. Самой ей нравится Мার্го, ударение на первый слог. Роскошная женщина: кожа гладкая, морщин нет вообще, волосы — какими захочет, такими будут, и одевается потрясающе, здесь так не ходит никто. Считается: ей за сорок — эх, как бы не все пятьдесят.

Когда она только приехала, она и муж, то злые языки, больше женские, говорили: испорченная ленинградская баба, не более. Нет, Марго — не баба, не просто баба — явление. Многим тут помогла. Поддержала, но не удерживала, не вцеплялась — всех отпускала, тоже — искусство жить. Я бы и сам с ней сошелся поближе, да случая пока не представилось.

А как Матвей ее знает? В библейском смысле? О'кей, шучу. Понял? — не реагирует. Говорит: через общих знакомых, маминых. Важное уточнение. Где-то надо на первых порах пожить. Марго — не худший вариант, далеко.

Какая-то в нем неопределенность, разболтанность. Здесь так нельзя. Необходимо стать частью общества. Приобрести мнения, их отстаивать. Демократия — жуткая вещь, но лучше пока ничего не придумано. Вот, например, реформа медицинской системы. Что Матвей может сказать по этому поводу?

Разводит руками.

— Я, вроде, здоров. С медициной не сталкивался.

А, предположим, замена одного из Верховных судей. Каково его мнение? Однополые браки — разрешать или нет? Опыты с клетками эмбрионов? Чтоб вопросов не возникало: Америка — самая свободная в мире страна. Новый Рим. Тут делается история.

Как он сюда попал, физически?

— На самолете.

Я понимаю, не в плыв. В смысле — по еврейской линии или как? Отец-то у него никогда не был евреем. Говорит: нет, грин-кард в лотерею выиграл. Объясняю: никакая это не лотерея, берут молодых, с высшим образованием, американцы — не дураки. Иногда возьмут, конечно, старушку какую-нибудь для видимости. Надо понимать, как делаются дела.

Так или эдак — первый и очень важный шаг совершен, он тут. Необходимо теперь шевелиться, двигаться.

— Читайте газеты, разные. Наша цивилизация — проект в первую очередь финансовый и правовой. Приобщайтесь к проблемам, а не то будете жить, не знаю, как в санатории.

Он, впрочем, уже в санатории — у Марго.

Неуверенно говорит:

— Какую-то нам газету подбрасывают.

Представляю себе. Нет, серьезно.

— Не хотите же вы быть неудачником, маргиналом. Извиняюсь за каламбур.

Машет рукой: согласен быть кем угодно. Лишь бы — быть.

— Сейчас меня как бы нет.

Романтизм, глупости. Мы все — есть. Чем Матвей собирается зарабатывать? Пожимает плечами, опять. Когда нет идей в восемнадцать лет, то идут в медицину или в юриспруденцию. Но Матвею — сколько уже? — Двадцать шесть.

Рекомендую, кстати, вести дневник. Ставить перед собой цели, фиксировать их достижение. О чувствах писать не надо, чувства неинтересны, они одинаковые у всех. Говорю как специалист.

Матвей, оказывается, уже записывает кое-что. Он — что же, думает стать журналистом или писателем? Ему и эту тему не хочется развивать. Странный молодой человек. Разумеется, у такого отца не мог получиться нормальный сын.

Впервые я оказался в их ленинградской квартире году в семьдесят седьмом по случайному, в общем, поводу: одной девице, существу во всех отношениях легкомысленному, нужен был отзыв или рецензия — сроки пропущены, самой заниматься бумажками не вмоготу.

Почему домой? — Он дома работает.

Хозяин — попробуем обойтись без имени — усадил меня в кресло, уселся сам. Нестарый еще человек, но с претензией на эдакую благородную ветхость.

— Дайте-ка, — протянул руку, пальцы длинные, без колец.

Я подал бумаги, он стал читать. Одну ногу обвил другой, винтом. Я так никогда не умел.

Много старых вещей, интеллигентный питерский дом. Темно-красный Ромэн Ролан, коричневый Бунин, зеленый Чехов, серенький Достоевский. Их двойники так и ездят за мной в коробках — после второго-третьего запаковывания я их не доставал.

Дочитал, вздыхает:

— Я этого не подпишу.

— Почему? — спрашиваю.

В конце концов, не мои бумажки.

— Боюсь.

— А чего вы боитесь?

Он пососал дужку очков.

— Как вам сказать?.. Всего.

Этот случай убедил меня лишь в одном: профессиональным стукачом он не был. А ходили такие слухи.

Кофе, что ли, попить? У меня как-то нет ничего. А Матвей и не голоден. Я рассказываю ему про первую встречу с его отцом. Опуская кое-какие подробности.

— Теперь он уже так не может, — про ноги.

Понятное дело, развинчивается старик.

Касаясь деликатной темы. Тогда все вертелось вокруг одного: органы — диссиденты. Есть, что вспомнить. Только все это рассекречивание, открытие архивов — штука опасная, много биографий попортит зазря. Гэбуха ведь тоже халтурила, план гнала. Вызывают, допустим, тебя: вы человек советский?

— Вас вызывали? — спрашивает Матвей.

Вызывали — не вызывали, какая разница? Вызывали. Отвечаешь: советский. Предлагают сотрудничать. Аккуратно отказываешься: простите, и рад бы, но — выпиваю, болтлив. Были приемчики. — Они вздыхают. А если узнаете про действия, направленные на подрыв?.. — Сообщу, сообщу. — Помечают: согласен сотрудничать. Без подписки.

— Зачем вы мне это рассказываете? — спрашивает Матвей, делает бровки домиком. Прямо как маленький.

— Да так.

Психология — наука экспериментальная. Интересно вызывать у людей живые реакции.

Плевать на бумажки, не подписал и не подписал. Тем более, с девицей той мы расстались. А через несколько лет я стал у него бывать независимо от девиц. Не мир тесен, хе-хе, прослойка тонка, — так в ту пору шутили.

Трудно сказать, чем он, собственно, занимался. Говорят: человек энциклопедических знаний. А сделал что? — Написал удачное предисловие. К чьим-то письмам. Софья Власьевна разве позволит что-нибудь сделать? Особенно гуманитарно.

Вот он, сидит за столом, произносит внушительно: «Я как выученик академической науки...» — а какой науки? — хрен его знает, поди спроси. На столе настоечки: сам изготавливает, не худшее из чудачеств. Настоечки-водочки, во времена борьбы с пьянством многих из нас от жажды спасли. Вскрикнул вдруг: «Мизерабль!» — жена рюмку подсунула неподходящую. Но стихов много знал и читал хорошо.

Руки нервные, музыкальные, нижняя челюсть большая: порода чувствует-ся. У него и кличка была — Дюк, за благородное происхождение. Так и вижу, как он натягивает в воздухе невидимые поводья — «кумир на бронзовом коне» — стихи, стихи. Воленс-неволенс перейдешь на высокий стиль, когда о Дюке рассказываешь.

— В вашем отце, Матвей, погиб настоящий артист.

Опять улыбается, нервно:

— Да не совсем.

Не совсем настоящий или же не совсем погиб? И то, и другое, видимо. Заметная фигура была у нас в Питере этот Дюк. Любил все старое, не только стишки — статуэтки, тарелочки, — называл их «пресуществлением духа», с гордостью рассказывал про дядю родного — тот не эвакуировался в войну, боялся: вернется, а квартиру разграбили. «Я не сторонник патефонно-чемоданной культуры», — вот так, помер с голоду дядя, но ценности фамильные сохранил.

Монархизм, естественно, юдофобия, но тоже — широкая, необычная: нет, это он не всерьез, эпатаж, старик интересничает. У него ведь жена еврейка. — Кто, Нина Аркадьевна? Нет, Нина Аркадьевна не еврейка.

Вот эту самую Нину Аркадьевну, жену его, третью и, очевидно, последнюю, не могу сейчас вспомнить. Что-то стертое, извиняющееся. Нас — такая была кругом скука! — привлекали люди яркие, с брызжущей, пенящейся духовностью, пусть не без некоторых, так скажем, моральных изъянов. Дюк женился на ней — тихонькой аспирантке — что называется, как честный человек, тоже передавали шепотом.

Сам он однажды мне сообщил, что в каждый период жизни Бог посылал ему спутницу, наиболее к данному периоду подходящую. Во как, Бог. Это уже, значит, восьмидесятые, самый конец. Раньше мы о Боге от Дюка не слышали. И религию он себе подобрал — с затеями. Католик восточного обряда, что-такое, или наоборот, не разбираюсь я в этих делах.

А потом та история всплыла, давняя.

В сорок девятом году Дюк учился в аспирантуре нашего родного Ленинградского университета имени товарища Жданова. Соображаю: могло так быть?

— Какого года отец? — спрашиваю у Матвея.

— Двадцать пятого.

Да, как раз. И была у них на филфаке группка поэтов — громко сказано — студентов, мальчиков, от семнадцати до двадцати. Филологи, лингвисты, как тогда говорили, — языковеды. Живут себе и пописывают, как бы не замечая,

что есть советская власть. Та не любила подобного к себе отношения, с большими была капризами.

Началось с глупости, мелочи, со стенгазеты. Мальчики в нее стишки тиснули. Тяга к экспериментам, безвкусица, все через край, Дюку и некоторым другим не понравилось. А у Дюка — вкус. Импозантный молодой аспирант: любит, умеет выступить, красноречив. И внешность. Дюк и выступил — не в курилке под лестницей, на собрании. Использовал термин «группа»: группа такого-то, по имени старшего и самого плодовитого из ребят. Само так вышло. Группа молодых филологов. В составе шести человек. Между прочим блеснул выражением: «Русский язык — не язык филологов, но язык Пушкина, Гоголя и Толстого». Стенгазету убрали, и всё, вроде как, успокоилось.

Но через год-полтора мальчиков взяли, всех. «Антисоветская группа такого-то», «группа шести» — как в воду глядел наш Дюк. На следствии мальчики оговорили себя и друг друга, как водится, но основой дела послужило некое заявление, как оказалось — его, Дюка. Выступить на факультетском собрании показалось ему не достаточно. Или же испугался: тогда уже, видно, боялся всего. «Жизнь — как рифма, никогда не знаешь, куда заведет», — своими ушами слышал от Дюка. Вот он и написал куда следует — в рифму к сказанному на собрании.

Мальчикам дали по восемь лет, отсидели по пять, вышли. Поэтом не стал никто, так что, можно сказать, Дюк оказался прав в смысле размеров их дарования. Об истории своего ареста мальчики помалкивали, до поры. А году в девяностом про это все взяла да и напечатала одна газетка, университетская: так сказать, печальные страницы истории ЛГУ.

Дюк ответил письмом в редакцию. Эпиграф придумал: «Всяк человек ложь». Да, писал Дюк, его вызвали, дал слабину, подтвердил показания ребят, те ведь дали признательные показания. Тогда мы не знали того, что знаете вы, молодежь. Следствие велось с применением недозволенных методов, но и он не снимает с себя ответственности. Выступление его — ошибка, трагическая, но стишки действительно были так себе — удостоверьтесь. Перепутал творческий семинар с собранием, ибо жил — и живет — в мире созвучий, идей, рифм. Между прочим, не раз подвергался гонениям: на очередном таком сборище его самого разнесли — за аполитичность — в пух. И главное: теперь, когда ему приоткрылась истина, он сам себя судит судом своей веры, совести, значительно более строгим, чем суд публичный, общественный. Разоружился — вроде бы, дальше некуда.

Но тут уже кто-то из бывших мальчиков не поленился, добыл свое дело и стала гулять по рукам копия заявления — в органы, того самого. Красивый, опознаваемый почерк. Пушкин, Гоголь, Толстой — Дюк и тут порассуждал о классике.

Стыдно нам стало: все же — один из нас. Перестали мы к Дюку ходить, даже настоечки нам его разонравились. А он взял и уехал в Москву. Передавали: ради Матвея, сына.

В Москве встретились — раз или два, на чьих-то похоронах. Дюк охотно ходил на похороны, даже не очень близко знакомых людей. Выглядел бодрым, подтянутым. Говорил у гроба и на поминках, иногда — первым, когда

никто не решался начать. Помнится, на похоронах одного поэта высказался в том духе, что не стоит, мол, горевать: поэты всегда умирают вовремя, когда их работа завершена. «Правильно, — заорал один полоумный, тоже из пишущей братии. — Стреляйте, сажайте нас!» Такая история, довольно дикая, но в совке было все через край.

Кажется, я Дюка тогда и видел в последний раз. Он к себе звал, но у меня в Москве много друзей. В сто раз лучше, чем Дюк. А потом я уехал.

Знает ли Матвей историю ленинградских мальчиков? Без сомнения. То-то фамилию поменял. А поинтересней была фамилия, прямо скажем, чем Иванов. Всё он знает. И как справляется? Любопытно было бы копнуть поглубже. Но — приходится деликатничать.

Темновато стало, надо бы свет зажечь. В комнате выключатель сломался, руки никак не дойдут. Мы переместились на кухню, тут окна побольше, светло еще.

Неизвестно, пересечемся ли мы опять. Говорю напрямик:

— Надо бы вам простить своего отца. Все кончилось, понимаете? Все прощены одним фактом существования в нашем милом отечестве. У всех у нас рыльце в пушку, как минимум.

Матвей поднимает глаза:

— Кто я такой, — говорит, — чтоб прощать или не прощать? И потом — разве кто-нибудь у кого-нибудь попросил прощения?

И уходит в комнату за своей курточкой.

— Вот из-за этого у вас там никогда не кончится ад, — кричу ему. — А на похороны поедете? Я своего папашу хоронить не ездил. Ни визы, ни денег не было. Как говорится, пусть мертвые хоронят своих мертвецов.

Он уже почти что в дверях:

— Знакомство с Писанием очень способствует, да?

Что за юноша?! Не ухватишь. Но вообще-то он прав: хватит копаться в этой помойке. Поменял фамилию — и проехали.

Как-то не хочется ставить на этом точку. Тем более — я нигде не бываю и люди редко приходят ко мне. Матвей ведь, помнится, увлекался шахматами? Говорит: в позапрошлой жизни. Молодой человек еще, а уже позапрошлая жизнь.

Лежали у меня где-то шахматы. Может, сразимся? Меня и любителем не назовешь: так, могу иногда партийку сгонять. Но с этим юношей счет у меня положительный.

Было ему лет восемь, секция при Дворце пионеров — дебюты, эндшпили, все дела, — не терпелось обставить взрослого. Я умею выигрывать у таких — один раз, за счет психологии. И его тогда обыграл. Он фигуры опять расставляет, а я говорю:

— Стоп. Хорошего понемножку. Вторую, и третью, и десятую ты у меня, деточка, может, и выиграешь. Но я их не стану играть.

Он собрался расплакаться: подбородок дрожит, бровки домиком. Но справился, молодец. Я потом с несколькими ребяташками этот фокус проделывал.

Напоминаю ему историю наших встреч — прикидывается, что забыл. Спрашиваю:

— Не хотите ли отыграться? Я достану шахматы, кофе сварю, включу свет.

— Нет, Анатолий Владимирович, пусть останется все, как есть.

И ушел.

Победитель

Ленинград — столица советских шахмат. Во Дворец пионеров, в секцию, Матвея отводит мама. Здесь учились великие — чемпионы мира, гроссмейстеры: портреты их висят в коридоре, в учебных комнатах, и когда кто-нибудь из великих не возвращается с Запада, то портрет его убирают, а имя становится запретно-сладким. Дети спрашивают у тренера: как вы относитесь к поступку такого-то? — Тот отвечает: как и все вы. — Советски настроенные ленинградские мальчики в начале восьмидесятых уже почти не встречаются.

На шахматах настояла мама. Она видит в них шанс куда-нибудь вырваться. Настаивать особенно не пришлось: отец поглощен работой, он мало заинтересован сыном, а шахматы — занятие тихое, Матвей не будет мешать отцу. В шахматы можно играть до глубокой старости, шахматистов стали первыми выпускать из страны, и почти никто из них потом не подвергся репрессиям. Такие вещи тоже учитывались, у всех кто-нибудь да сидел: врач — и в лагере врач, музыкант — везде музыкант, можно выступать в самодеятельности. Но способностей к музыке не было.

Матвей — умный сосредоточенный мальчик. Отличная память, усидчивость, умение считать. Тренер учит разумной расстановке фигур: надо стремиться к тому, чтоб им было комфортно.

— Заботьтесь о них, как о близких родственниках.

Всех родственников у Матвея — отец и мать. Еще братья от первых отцовских жен, он про них узнал с опозданием, — считалось, что прошлого у отца нет, — и когда, наконец, познакомился с братьями, абсолютно взрослыми, с собственными женами и детьми, родственных чувств к ним не испытал. Больше того: показалось, что братья могут обидеть маму. Готовность к хамству, агрессии, что-то такое он в них угадал.

Хотя именно интуиция, умение угадывать, у Матвея не очень сильна. Дебютам, игре в окончаниях — учат, а интуиция — есть или нет. Матвей выигрывает способностью к счету вариантов, удивительной для ребенка: хорошо считает за обе стороны, всегда находит за противников самые точные, осмысленные ходы, это умеют немногие. Но считает и много лишнего, попадает в цейтнот.

— Интуиции не хватает, поэтому, — говорит тренер.

Был ли он прав, или Матвею не доставало чего-то еще, столь же трудно-определимого, особой какой-то шахматной гениальности, но к концу школы становится ясно, что в его развитии имеется потолок, который, конечно, еще не достигнут — кандидат в мастера, Матвей ездит уже по стране, занимает

призовые места, — но скоро, скоро он остановится. Хороший ремесленник, вот он кто. Не быть Матвею гроссмейстером, путь закрыт. А он в этом славном сообществе не потерялся бы. Гроссмейстеры — люди со вкусом, в отличие от многих спортсменов — не суеверные. Особенно любит он наблюдать, как, закончив партию, они не уходят, а обсуждают, анализируют, шутят, улыбаются тем, кому только что противостояли в течение многих часов. Как желал бы он быть одним из сидящих в такие моменты на сцене — лучшие, самые лучшие в выбранной ими профессии! Замечательное сообщество. Поверх государственных, национальных границ. Как великие музыканты, как математики.

Вот-вот, говорят, тебе бы быть математиком. Но способность к устному счету в этой науке давно не ценится. Нет, это будет ошибочный ход.

Кончилась школа. И занятия шахматами тоже подходили к концу. А потом вдруг была Москва — длинный, неинтересный сон. В конце которого Матвей поменял фамилию, выиграл вид на жительство в США, и уехал. Тут, в Сан-Франциско, ему предстояло очнуться, но он попал — верно сказано — в санаторий, к Марго. Сон продолжился, хоть и стал гораздо приятнее. Но сон он и есть сон.

Марго приходит в его комнату каждый вечер — пожелать Матвею спокойной ночи. Какие-то мази у нее изысканные, она из-за них становится солоноватой на вкус, ему нравится. Не нравится — положение в их доме: муж ее с крепким рукопожатием, пожалуй что, слишком крепким. Муж, вроде, бывший, бояться его не следует, но бывший ли? Он надолго уезжает по своим делам, его дела не заслуживают даже презрения, никаких дел в глазах Марго нет. Но, однако, когда он дома, она не заходит к Матвею в комнату, ночи в самом деле оказываются спокойными. Так бывший муж или нет? — Нельзя спрашивать, нельзя портить, — даже не говорится, подразумевается — разные бывают, как лучше сказать? — *arrangements, commitments* — договоренности — жизнь длинная, то ли еще увидишь, мой дорогой.

Марго любит разнообразие ощущений: купание в океане, всегда холодном, она уверенно плавает — ну же, давай, не бойся — сейчас они искупаются, сделают по глотку коньяка и она научит Матвея есть устриц: чуть-чуть перца, лимон, никаких соусов — наука несложная.

Кроме набора писателей, вывезенных из России, огромных альбомов художественной фотографии и всяких эстетских штук в доме есть множество книг с дарственными надписями от авторов, в частности *Art de vivre* — от друга-психолога: той, без кого моя книга не увидела б свет. Он вспоминает этого друга — специалист по искусству жить, странный, неуравновешенный, с тяжелым взглядом — стоит читать? — Нет, конечно же. — Он говорил про отца. — Марго просит: забудь, он человек несчастный, ушибленный эмиграцией, даже опасный в иных обстоятельствах, все забудь.

Собственный ее отец, кстати сказать, был поэтом, сидел. «А...» — отмахивается Марго на просьбу что-нибудь из него почитать. Он давно умер. Они и не жили вместе. Не помнит она ничего наизусть, это у Матвея — память. Прошлого нет. Нету и будущего, есть только то, что есть, — настоящее,

вполне хорошее, не правда ли? А Матвей, она видит, чего-то хочет добиться, счета свести — для нее, для Марго, этого нету вовсе, ее не привлекает результат — то-то детей нет, говорят недоброжелательницы, — Марго любит процесс, процесс жизни. Сан-Франциско с окрестностями — идеальное в этом смысле место. Здесь нет истории — вечно отягощающего, тянущего назад: состояния, сколоченные в прошлом веке на золоте, в нынешнем — на компьютерах, плюс пара землетрясений, не считать же это историей.

Они заехали в этот клуб, дом, неважно — Memorial что-то там — тут дают невообразимый кокосовый суп. Матвею попадает на глаза объявление: скоро у них состоится турнир по шахматам. Каков призовой фонд? Даром, как известно, только птички поют. Он часто цитирует, хоть и борется со своей привычкой — она у него от отца. А Марго нравится, она воспринимает его рифмованную веселость как заигрывание, как ласку, как часть ухаживания за собой, она живой человек, у нее есть не только ощущения, есть чувства, жалко, что он мало воспринимает: занят устройством своим в Америке, мыслями об отце, прошлом, будущем. Когда же они поймут, что нет никакого прошлого-будущего, есть — только то, что есть: кокосовый суп — да, смешно, — суп, но еще — вечер, огоньки от моста отражаются в океане, запах водорослей — на же, вдыхай его, не рефлексируй — живи, дыши.

Он обдерет их и заработает денег. Дайте ему телефон. Им как раз не хватает шестнадцатого. Ланч, гостиница и совместные увеселения не требуются. Не одолжит ли Марго ему тысячу долларов? — взнос в призовой фонд. — Она пожимает плечами: конечно, пожалуйста. А что, он играет в шахматы?

Вечером запирает дверь — чтоб Марго не зашла, пока он звонит матери. В Москве утро. Как отец? — Вот, бульона поел. — Он злится на мать — какой бульон? Слово разделяющее их расстояние обязывает говорить лишь о жизни и смерти. Что он хочет услышать? После той, большой, новости — операция хоть и показана, да только вас никто не возьмет, — больного и его близких ожидает множество мелких радостей: бульона поел, дошел до уборной самостоятельно, попросил почитать ему вслух. — Что, приехать? — Нет, — просит мама, — не приезжай пока. — Отец догадается, что Матвей явился его хоронить.

Подготовка к турниру сводится к изучению партий последних лет — вот уж не думал он к этому возвращаться. Жалко, даже в библиотеке нет книг по-русски: шахматы — редкая область, где мы все еще впереди. Матвей догадывается об уровне тех, с кем ему предстоит играть, но, мало ли, объявится среди них жадный до денег бывший его соотечественник. Единственным русским, однако, оказывается он сам.

Сильный соперник попался ему в первом туре. Часы пущены, партия началась, у Матвея белые. Матвей надолго задумывается, опускает руки под стол, унимает дрожь: он не притрагивался к фигурам уже восемь лет. Крепыш Дон играет добротнo, честно, в том же духе, что сам Матвей. Почти уравнил и, если бы считал лучше, не напутал в вариантах, то сделал бы ничью — долго казалось, что у черных не хуже.

Матвей играет первую партию, не поднимаясь со стула. После победы — воодушевлен, голоден, за еду и прочее им не плачено, никто бы не возражал, но неловко их объедать. Марго за ним заезжает, везет обедать, она не знала Матвея таким активным, живым. Но во втором туре он уже легко побеждает соперника, смотрит за игрой на соседних столиках и чувствует себя хищником в обществе оранжерейных птиц.

Романтические шахматы. Дебютная подготовка джентльменов кончается к пятому-шестому ходу. От одного из них — по имени Алберт А. Александер, которого здесь называют послом, внезапно пахнуло домашним, неприятно родным.

— Аве, Цезарь! — воскликнул посол перед партией. — Идущий на смерть приветствует тебя! — По-латыни, конечно. *Morituri te salutant*, — такую латынь знают все.

Посла он разделал в пух. Особенно и стараться не надо было: тот начал вычурно — староиндийская белым цветом — и несколькими ходами создал себе позицию, которую нельзя удержать. Вот, хитро взглянув на Матвея, посол двигает пешку — ешь. Пешка отравленная, у Матвея не третий разряд. Необдуманные наскоки там-сям, покушения с негодными средствами — это уже не романтика, а неряшливость. Старый индюк имел даже наглость предложить ничью. Наконец, совершив свой последний бессмысленный ход, посол поднимает руки, склоняет голову, в знак капитуляции останавливает часы.

На вечерние их разборы Матвей не ходит — сами, сами пусть. Это выше сил — изображать гроссмейстера.

К слабоумному Джереми он шел с намерением проиграть: задуматься на пятьдесят минут, потом еще — и просрочить время, но предложил ничью — не во всем надо быть первым. «Умеренность — лучший пир», — любил повторять отец.

Плохо ему, задыхается, теперь пора, мама говорит — он уже ногу на ногу положить не в силах. Спираль распрямилась, расправилась. Матвей уехал бы: победу в турнире он обеспечил себе за несколько туров до окончания, но что будет с призом? Это жлобье может зажать его деньги. Не жлобье, конечно, Марго права: что плохого они ему сделали?

Всё, деньги Матвей получил, отцу уже совсем плохо, наутро — лететь. Билет Сан-Франциско — Нью-Йорк — Москва с открытыми датами приобретен давно. Марго в последний раз заходит пожелать ему сладких снов, и несмотря на то, что муж дома, часть ночи проводит у Матвея в комнате.

Рано утром она его отвозит в аэропорт. Целует дольше и энергичнее, чем когда прощаются ненадолго. Ух, как он будет желать потом вот такую Марго! А она никуда не денется — приезжай, ешь-пей, живи, экспериментируй! Марго — вечная, не твоя и всегда твоя, ничья.

Заходя в самолет — посадка несколько задержалась, — он замечает в салоне первого класса двух недавних своих соперников. Дональд и этот, противный, посол. Самолет разгоняется и взлетает. Матвей глядит на залив, потом закрывает глаза.

Он улетает как будто бы ненадолго: умирание отца и похороны — сколько это займет? — неделю, месяц? — но в Калифорнию не вернется. Тут он жил как-то вскользь, по касательной. Вот помыл бы машины, что-нибудь поразвозил, переночевал бы несколько раз на улице — глядишь, и возникло бы сцепление с жизнью, а так — действительно, санаторий. В следующий раз он поедет в Нью-Йорк или лучше — куда-нибудь в глушь, поработает на развозчиком пиццы, драться научится. Драться ему всегда хотелось уметь, но не настолько, конечно, чтобы идти в армию. Дома считалось, что переезд в Москву в свое время и был затеян, чтоб в нее не идти. Вранье.

Он помнит — тогда, по дороге в Москву, отец его спрашивал: «Фемистоклос, скажи, какой у нас лучший город?» Следовало отвечать: Петербург. Отец продолжил игру: «А еще какой?» Он кивнул: Москва. Отец любит Гоголя. Но Матвей уже догадался, что переезд их — это побег, не настолько плохо у него с интуицией.

В Москве они поселяются в меньшей, конечно, квартире — уровень жизни здесь выше, чем в их родном, опять поменявшем название, городе, — но живут тоже в центре, в Замоскворечье, жить полагается в центре. Отец осваивает роль московского барина, снова пущены в ход настоечки — способ привлечь гостей, но никто как-то не привлекается.

На душе у Матвея тухло, темно. Исподволь возникает ИнЯз, языки всегда ему хорошо давались, вечерами Матвей переводит с английского, самую разную литературу, по большей части эзотерическую. То там, то сям возникают группки людей, воспаляются, гаснут, издательства появляются и исчезают. Сроки, сроки! — торопят заказчики. — Да не вникай ты так! Если чего-то не понимаешь, включи фантазию. Платят порциями — иногда неожиданно много, а то совсем не заплатят или заплатят с задержкой в год.

Как многие люди, связанные с издательствами, переводами, Матвей играет в слова, в центончики-палиндромчики. Пробует сочинять и серьезное — чтоб заполнить в себе дыру, пустоту, он догадывается, что это не может служить основанием для сочинительства, и серьезное пока что не получается. К счастью, хватает сил никому свои опусы не показывать, да, в общем, и некому, близких друзей так и не завелось. Ничего, когда-нибудь, может быть, а пока — надо увлечься иностранными языками, учебой, стать переводчиком.

Языки — тоже шанс куда-нибудь вырваться. Мама, особенно на первых порах, пробует его оживить: смотри, Матюш, какая хорошая в Москве осень, у нас такой не было, листья под ногами, помнишь, маленьким, ты любил делать «шурш»? Река здесь, конечно же, никудашная, зато растительность — совсем другая, чем в Ленинграде, — богаче, южнее, смотри! И солнца больше, тебе ведь нравится солнце. Но с мамой они оказываются вдвоем лишь изредка — в Москве она почти неотлучно находится при отце.

Отцу под семьдесят, успехов уже, разумеется, никаких, он понемногу распродает вещи — картинки, блюдечки — отец любит предметы старого быта, подлинной материальной культуры — и читает лекции для молодежи: общество «Знание», пережитки СССР.

В речи отца возникают новые для него словечки: «посюсторонность», «внеположенность» — он хочет нравиться молодежи. Молодежь какая-то, удивительно, ходит его послушать, но слушает не вполне так, как лектору бы хотелось:

— Нина, они на меня смотрят, как на старушку с ясным умом.

Мама пробует подработать — берет в издательствах рукописи, корректуры.

— Русский язык, — говорит отец, — не язык редакторов и корректоров...

Она тихо уходит на кухню. Здесь телевизор. Советские фильмы, до- и послевоенные, черно-белые во всех отношениях. Матвей не может понять: как она смотрит подобную чушь? — Не выключай, просит мама, тут нечего понимать, тебе не нравится — и хорошо, и к лучшему, но все же не выключай, оставь.

Вот еще: с наступлением больших перемен отец сделался набожным. Всюду, во всех компаниях, часто ни с того, ни с сего, принялся говорить о вере, откровенно, нецеломудренно. Тогда все задвигалось, зашумело, поехало, не стало хватать еды. С тем же простодушием, с каким он забирал себе лучший кусок — Нина вообще мало ест, Матвей вырос, а он голоден, стар, — отец рассуждал о личном спасении. Одни спасутся, другие — нет.

В Ленинграде он был католиком, а по приезде в Москву объявил, что европейская культура внутренне разрушительна, переметнулся в старообрядчество — несколько раз съездил в церковь у Рогожской заставы, очень привлекательным показалось ему это сочетание слов. «Стоя на рогожке, говорю, как с ковра» на некоторое время стало любимым его выражением. Приобрел привычку говорить на -ся: «смеялися», «удивлялися» — не прижилось, «посюсторонность» оказалась более органичной.

На одной из лекций — Матвей приехал, чтоб доставить его домой, отец плохо себя почувствовал — слушатели спросили, чего бы он хотел пожелать молодежи. Отец задумался: «Жизнь — длинна ли, коротка — одна», — он любил подобные приступы. Матвей с привычным стыдом ожидал продолжения. Но отец спокойно сказал:

— Не бойтесь. Ничего не бойтесь.

Ну же, подумал Матвей! Сейчас, вот сейчас! — он читал уже все, что можно было найти про то ленинградское дело, — говори! Странно, нелепо, вычурно, при молодежи, при всех — скажи! Но отец ничего не сказал. Только вот — ничего не бойтесь.

Дыра, пустота стала больше, расширилась. Скоро, как у какого-нибудь алкоголика, наркомана, в нее повалится все — остатки любви, сочувствия, умения радоваться. Тогда и решил — уехать, сменить фамилию.

Он отказывался от фамилии, как говорили — княжеской, чуть не царской — запутанная история, берущая корни из Византии. Во всяком случае, когда благородное происхождение опять вошло в моду, особенно в Питере, выяснилось, что отцу его есть, чем гордиться. Но фамилию Матвей как раз таки и менял, чтоб разойтись с отцом.

Законным образом сделать ничего невозможно, а зачем это надо? — говорят ему умные люди — группка ребят, знающих все ходы-выходы, — достаточно получить заграничный паспорт с другой фамилией. Есть человек, который поможет, у нас же свобода, важна лишь цена вопроса. — А человек откуда? — Да все оттуда же.

Они и этим теперь занимаются? Вот уж — кому ничто не мелко, да? — Для американцев напишешь — была одна фамилия, стала другая, американцы наивные. Подумаешь — документы, а что, собственно, такое есть смена фамилии? Или непременно тетя нужна в черной мантии? Давай, старичок, соглашайся, все будет о'кей. Какую возьмешь фамилию? И Матвей называет первое, что приходит на ум: Иванов.

Через месяц он получает паспорт, человек не обманул. Они все еще выдают паспорта с советской символикой — на восьмом году после роспуска СССР. Не все ли равно? Главное — с другой фамилией. Любые прихоти за деньги заказчика, это Москва.

Скоро Нью-Йорк. Под ними — вода: облака, где-то там — океан, дождь. Красиво, но одинаково и одиноко. Так будет в аду, если он вообще есть.

Болел отец вовсе не так широко, как жил: стал хиреть, отекает, задыхаться. Следовало ожидать наплыва профессоров, светил, столкновения у его постели разнообразных мнений — нет, дядька какой-то, хирург, в несвежем халате, посмотрел выписки — много сопутствующих заболеваний, никто не возьмется его оперировать — и отец почему-то удовлетворился: что ж, будем теперь ожидать конца. Но ведь можно сходить к другому профессору, третьему, поискать хирурга, который взялся бы.

— Нина, пожалуйста, я устал, — он запрещает ей думать об операции. — Надо остановить часы, спроси у сына, что это значит, он у нас шахматист.

Возникали, конечно, эпизоды и жалости, и наружной близости, особенно когда отец заболел, а Матвей уже знал, что скоро уедет в Америку.

— Поезжай, поезжай, — отец не был против, — хорошая страна, у них даже на деньгах написано: «Уповаем на Господа». — Одна из последних его несуразностей, но, кажется, бескорыстных — отцу уже очень хотелось остаться с мамой наедине.

День или два до отъезда. Матвей с отцом у компьютера, отец просит его научить: он уже знает, как компьютер включается-выключается, больше ничего не выходит. Нет, сюда нажимать не надо, это шахматная программа, старая. Можно ее удалить, раз мешает. И эту тоже. Отец пристаёт: как удалить программы? Как вывести на печать текст? Как сделать, чтоб ничего не терялось? Пускай Матвей ему все покажет, напишет инструкцию. И этот, как его... Как называется эта вещь?

Всемирная паутина, сеть, Интернет. Матвей думает: сюда тебе точно не надо. Потому что в какой-то момент наберешь, догадаешься — антисоветская группа, Ленинград, университет. И свою фамилию.

Матвей ударяет по подлокотнику. Больно, но не достаточно. Он бы с удовольствием обо что-нибудь стукнулся лбом. Пустите, он должен встать. И — вперед.

Стюардесса отодвинута в сторону.

— Ноги размять?

Всё размять. Он пойдет туда, за перегородку, врежет старому индюку.

Через десять минут возвращается. Нормально вышло. Сердце стучит, каждый удар отзывается болью. По прилете звонит домой. Жив отец?

Нет. Все случилось сорок минут назад.

Ultima fermata

Умер. Мама сказала: он умер.

Принял лекарства, она ему почитала — он просил старого, совсем старого — потом отошла приготовить питье, вдруг крик: «Нина, кажется, я умираю. Звони Матвею!» Пошла искать телефон, вернулась, он говорит: «Не звони. Мне лучше». А потом вздохнул глубоко два раза и перестал дышать.

— Он часто вспоминал о тебе в эти дни.

Не надо, думает Матвей. Поздно. Всё — поздно. Он начал чувствовать сердце еще в самолете, теперь оно заболело сильнее.

Она ему много читала. Стихи. Он любил стихи.

Мама не кажется ошеломленной. Только очень сосредоточенной.

— Матюш, мы договорим и... Ты где?

Он в Нью-Йорке.

— Мы договорим, — повторяет мама, — и я выключу телефон.

Ей без перерыва звонят. Плохо, что мама одна.

Она отвечает: нет, ничего. Но людей, конечно, не избежать. Да и отцу многолюдье нравилось.

— Завтра братья твои приедут.

Братья. Они все время звонили в последние дни. Требовали, чтоб она действовала.

— Ничего нельзя было сделать, — говорит Матвей. — Мы ведь были готовы к этому.

— Да, — отвечает мама. — Пойду к нему.

Матвей бы успел, возможно, если б — бегом, но время в какой-то момент пошло слишком быстро, да и прилетели они в Нью-Йорк с опозданием. Стойка закрыта — до завтра, самолеты в Москву летают один раз в день. Они его выкликали — делали объявления. Не привык он еще к новой своей фамилии.

— У меня сегодня умер отец, — произносит Матвей со стыдом.

Это очень плохо, им жаль. Они отправят Матвея в гостиницу. — Гостиница, ночь — нет, невысказано. Надо действовать, перемещаться, помогите, пожалуйста. — Они посмотрят, что можно сделать. Лондон, Франкфурт, Париж — нету мест. Вот, есть возможность лететь через Рим. Они посадят его в первый класс. В знак... ну, ясно чего. Доплаты не требуется, вот билет, вот посадоч-

ный, торопиться некуда, пусть уложит все хорошенько. Как он вообще? — Спасибо, все ничего. Он им очень признателен.

Биологическая, природная связь с отцом всегда ощущалась слабо: нечему рваться. Странно все-таки: был отец, теперь нет. Еще — боязно от того, что предстоит увидеть: холодное, пожелтевшее тело, труп. Или его увезут? — было б лучше, но нет, отец не любил «патефонной культуры», он бы не поддержал такое решение.

Матвей всего-то и видел покойников — одного из тренеров своих по шахматам, это не было страшно, народу полно, и где-то там, далеко — венки, гроб, — и ленинградскую бабушку, мамину маму. С ней он был не то что не близок — почти не знаком, та не приняла замужества дочери, зять приходился ей чуть ли не сверстником. И дома, и в церкви мама непрерывно поправляла что-то на мертвой бабушке, гладила ее, трогала, Матвею казалось — немножко нарочно, как будто бы для него. А он постоял, как все, потомился своим неучастием, поцеловал бумажку на лбу.

Первый класс самолета, летящего в Рим. Там он застрянет почти что на восемь часов, в Москве окажется вечером. Рядом — пестро одетые американцы, большая компания, мужчины и женщины, много свободных мест.

— Make yourself comfortable, — устраивайтесь.

Фигурам должно быть комфортно, да. Матвей что-то автоматически выпивает, крепкое, еще на земле. Он почти не употребляет спиртного, но когда и выпить-то? Может, удастся заснуть. От еды он отказывается.

Газеты, тележка целая: читайте, приобретайте мнения. Соседи берут по нескольку штук — газеты огромные, как порции в американских кафе. Погружаются в колонки цифр — и мужчины, и женщины. Печать мелкая, котировки акций: наша цивилизация — проект финансовый и правовой.

Матвей тоже берет газету — чтоб прочесть ее целиком, не хватит нескольких дней. Политика, местные новости, искусство, спорт. По вновь обретенной привычке он принимается было просматривать тексты шахматных партий, но прекращает — зачем? А вот и страница, где некрологи — можно сказать, прямо к случаю.

Всех, чьи истории он читает, объединяет одно — их жизни закончились в апреле нынешнего, тысяча девятьсот девяносто девятого года. Как и отца. Про каждого — где, от чего умер, кого из родных пережил, вехи карьеры и что-нибудь симпатичное, чем кто запомнится. Впрочем, не обязательно симпатичное.

Умер сенатор-республиканец, девяносто четыре года, имел большое влияние на Юридический комитет. Противник насилия и порнографии в средствах массовой информации. Борец за смертную казнь. И против ограничений на продажу оружия. При Никсоне выдвинул в Верховный суд своего протеже, которого многие считали человеком серым, посредственным. «Хоть бы и так, — говорил сенатор. — Люди в большинстве своем — серые. И люди, и судьи. Они достойны иметь своего представителя». Оставил дочь и двух сыновей.

Другой некролог: семидесятитрехлетняя Эстель Сапир. Отвоевала у банка деньги отца, уничтоженного в Майданеке. «Ты должна выжить, Эстель», — повторял отец: последний раз они разговаривали через колючую проволоку, на юге Франции. Он назвал ей несколько банков, где держал сбережения. В сорок шестом англичане с французами безропотно отдали свою часть, а швейцарцы потребовали письменных доказательств того, что отец ее мертв. В концлагерях свидетельств о смерти не выдавали — на то, чтобы вернуть деньги, оставленные отцом, Эстель потратила пятьдесят лет. Детей не было, только племянники.

Спокойно написано. Преуменьшение, недоговоренность — во всем, в скорби тоже. Он продолжает читать, прихлебывая из стаканчика.

Умер владелец бейсбольной команды, потративший миллионы на благо общества. Умерла первая из множества жен Рокфеллера, вице-президента и губернатора, она родила ему пятерых детей и до старости танцевала чарльстон. Умер судья из Бронкса, назначивший убийце молодой женщины и двух девочек семьдесят пять лет тюрьмы — максимальный срок. Зал, написано, аплодировал стоя.

Шестью восемь, умножает Матвей, — сорок восемь. Плюс два: старшему дали не восемь, а десять лет. Итого, пятьдесят. Его собственный, родной отец обрек ленинградских мальчиков на пятьдесят лет тюрем и лагерей.

Матвей оглядывается: соседи — кто читает, кто спит. Удостоится ли подобного некролога хоть один из них? Принесите-ка еще порцию. Да чего там, тащите бутылку — всю. Ни разу он столько не выпивал, как в последние три часа. — Надо что-нибудь съесть, говорит стюардесса, она обязана позаботиться, чтоб пассажир не напился вдрызг. Не хочет обедать — она принесет салат. «Цезарь» с курицей. Или греческий. — Ладно, давайте «Цезаря».

Всё — последняя жизненная история. А потом попытаться уснуть.

Ветеран Первой мировой войны Герберт Янг скончался в четверг у себя дома в Гарлеме, не дожив неделю до ста тринадцати. В феврале стал рыцарем французского Ордена почетного легиона, на церемонии награждения отдал честь и поднял бокал шампанского.

В Первую мировую служил в саперном полку. Полк, составленный из американских негров, останется в памяти как свидетельство расовой сегрегации. За месяц до смерти сказал журналистам: «Я отправился в армию, потому что чувствовал себя одиноким. Все мальчики уехали на войну».

В последние годы нуждался в слуховом аппарате, почти ослеп, но войну помнил живо: «Тот, кто скажет, что не было страшно, — лгун». Ходил в штыковые атаки, был отравлен немецким газом. Из трехсот пятидесяти ребят в его полку уцелело двенадцать, большинство умерло от болезней, а не от ран. После войны еще девять месяцев оставался в Европе, хоронил убитых. По возвращении чинил старые автомобили, а в восемьдесят семь женился на Грейс, девушке двадцати с чем-то лет. Полный состав семьи нуждается в уточнении. Французский орден Янг передал прапраправнучке, ей одиннадцать. Когда его месяц назад спросили, что позволило ему прожить так долго, он ответил: «Я старался избегать неприятностей».

«Не бойтесь, — вспоминает Матвей. — Ничего не бойтесь». Что бы они написали отцу? Бутылка, которую ему-таки принесли, скоро будет пуста, а Матвей не чувствует ни особенного опьянения, ни желания спать.

Гуманитарий, написали бы, семидесяти четырех лет, многократно менял конфессии, любитель остроумных высказываний, не все из которых, однако, принадлежат ему самому. Выпускник Ленинградского университета, гибкий администратор науки, поборник академической чистоты, борец со всякого рода экспериментами. Ценитель русской поэзии восемнадцатого — первой половины девятнадцатого веков и настоечек из трав на спирту. Имел кличку Дюк — за благородную внешность и княжеское происхождение. Остались вдова и сын, верней — сыновья. В тысяча девятьсот сорок девятом году написал политический донос на шестерых студентов, в общей сложности приговоренных к пятидесяти годам сталинских лагерей. Ни в частных разговорах, ни публично в содеянном не раскаялся. Нераскаявшийся стукач. Скорбь неуместна. Нет, без этого. Только факты. Газеты — к чертовой матери.

Матвею удастся откинуться, опрокинуться, почти лечь, он нашел положение, при котором не кружится голова. Рим, он летит в Рим. Палиндром: Рим—мир. В мире будете иметь скорбь — отец повторял это в периоды неприятностей. Знакомство с Писанием, да-да. Скорбь неуместна. Ее и нет.

Есть другое. Он всю жизнь существует в двумерной системе отношений, координат. Сперва — шахматы: черные—белые, выиграл—проиграл, единица—ноль. Фильмы: наши — не наши, фашисты—русские. Затем — новые пары: органы—диссиденты, стойкость—предательство. Он уехал от этого, вырвался. Но и в Америке: белые—негры, республиканцы и демократы, правые—левые. Из суммы всех этих векторов образуется картина мира, говорят ему люди взрослые, с опытом, как догадывается Матвей — научившиеся скрывать безвыходность положения, затыкать пустоты в душе, заглушать боль. Кто научился лучше, кто хуже. Он вспоминает Марго: огоньки от моста, кокосовый суп, запах водорослей, а тот, например, странный дядька, психолог, отцовский приятель, так и не может скрыть ничего. Черные—белые, Россия—Америка, два луча, два направления, вектора — они лежат в одной плоскости и эту самую плоскость собой задают. Он хочет, он очень хочет смотреть на мир по-иному, но все попытки что-нибудь в нем разглядеть, Матвей знает, разобьются о плоскость — без глубины, высоты: как клеенка, экран телевизора, шахматная доска. Вправо-влево, вперед-назад — вот и весь выбор. Налево пойдешь — коня потеряешь, — мальчики в шахматной секции любили вокруг этого пошутить. Жизнь—смерть. Дурная бесконечность — сзади и впереди.

На некоторое время удастся забыться, и там, в забытии, Матвей стонет, пытается сделать шагок, движение — куда-нибудь вверх и вбок, но его не пускают сгрудившиеся фигуры: голая девяностолетняя миссис Рокфеллер — или это Марго? — отплясывает чарльстон, посол с совершенно синим, мертво-одутловатым лицом засовывает ему в рот пешечку, и старичок с Альцгеймером хихикает: хе-хе-хе — вцепился, висит — ешь. Муж Марго с его страшным рукопожатием, сенаторы, судьи, человек, который «да всё оттуда же»,

и красный от возбуждения психолог-псих хвастается квартирой: «Сейчас обставим ее как следует, картинки повесим, я предчувствую счастье. С вами — бывает такое, нет? Следовательно, у вас — дефект личности. Хотите, кофе сварю?». Матвей задыхается, необходимо ответить, дело не в счастье-несчастье, дайте мне вырваться, выбраться, отпустите меня! Но это ответ на другие события — в желудке, не в голове. Удача, что успел добежать, что свободен сортир.

Его рвет — непереваренным «Цезарем», алкоголем, снова и снова — какой-то мерзостью. Не то что остатки чувств — ему кажется, он уже кишки свои выблевал. После очередного приступа Матвей ложится между унитазом и раковиной и теряет сознание. Потом оно к нему возвращается.

Воды, надо много воды, у Матвея дегидратация — стюардесса знает, о чем говорит. Он дает себя напоить, уложить на сиденье, укрыть.

Так, с выпотрошенным нутром, Матвей прилетает в Рим. Поток людей его выносит на паспортный контроль и затем к поезду, хотя ему туда, вроде бы, не нужно совсем. Но — семь с половиной часов, он же должен их как-нибудь провести.

— До Рима доеду? — по-английски спрашивает Матвей, заходя в вагон.

— Sì, sì, — отвечают по-итальянски — *Ultima fermata*: конечная.

Матвей не помнит, как вылезает из поезда, проходит в утренних сумерках несколько сотен метров, садится на камни, чтобы немного прийти в себя. Камни оказываются неожиданно теплыми, не остывшими за ночь, и Матвей очень скоро ложится на них, подперев рукой голову. Минут через двадцать он открывает глаза: очертания большого собора, никого из людей, только голуби и наполненная каким-то незнакомым Матвею смыслом предрассветная тишина.

Такое чувство, будет потом вспоминать Матвей, что он мерз, а город укрыл его одеялом. Образ, метафора, это сочинилось потом, а пока что он чувствует внезапное освобождение: как в детстве в конце болезни, когда просыпаешься с мокрым холодным лбом, пижама и наволочки — все мокрое, но ничего не болит, температура нормальная, хорошо. Матвей улыбается и закрывает глаза.

Дом

Он проснулся от музыки. Верней, оттого что она закончилась. Светло, абсолютно светло.

Матвей садится и озирается. Перед ним огромный собор.

— Шухер, — говорит мальчишеский голос за спиной у него, испуганно-весело.

Шесть или семь девочек — скрипки, альты, и мальчик-виолончелист. Тут же банка с деньгами. Что-то они играли такое хорошее? Хочется снова прилечь. И спал-то — пару часов, а все поменялось. Римское утро.

Деньги и паспорт при нем. *Finito il credito*, — пишет его телефон.

— Разбудили товарища, — произносит первая скрипка, девочка.

В Калифорнии он пытался не сталкиваться с соотечественниками — эти встречи почти всегда оставляли чувство стыда. Но тут никто его ни о чем не спрашивает, и откуда им знать, что он русский.

Появляется тот, кого испугались ребята, — карабинер. Большой, шея толстая, театральный злодей. Осматривает музыкантов, Матвея, сидящего на земле, нескольких нищих, которые расположились поблизости. Таксисты, люди, вышедшие из гостиницы покурить, и, так, прохожие — сцена полна людьми. Злодей замечает банку с деньгами, что-то строгое произносит вполголоса. К нему подскакивает маленький человек в белом фартуке, жестикулирует, указывает на храм. Карабинер отходит, банку ставят на место, в ней уже порядочно набралось.

Ребят защитили, они обязаны поиграть. Листают ноты, переговариваются. Из машины вылезает таксист:

— Silenzio! — в ладоши хлопает, требует тишины.

Вид у таксиста был бы чрезвычайно мужественный — он острижен наголо, — если б не темные очки в светлой оправе — на лбу, и похожей расцветки туфли: носы черные, сами белые.

Первая скрипка кивает — и-раз. Матвей никогда не слышал музыки из такой близи. Отсутствие сцены создает особенное впечатление. Вернее, он сам как будто на ней сидит.

Грусть — и приятно, что грусть, умиление. Вот черт, — время на часах его все еще калифорнийское, или он успел перевести часы? Последняя пьеса, яркая, быстрая, проходит мимо его сознания — Матвей занимается вычислениями: как бы снова не опоздать. Ничего, до отлета еще три с небольшим часа.

Все аплодируют, деньги кидают. Матвей встает, внутри — пусто, легко, разве что хочется пить. Достает купюру — сто долларов, нету других. Богатый американец — девочка, присматривающая за банкой, кланяется ему.

Музыканты складывают инструменты, рассовывают по карманам, футлярам деньги, спешат. Вдруг застывают:

— Абрамыч, — произносит виолончелист.

Через площадь, слегка склонив набок голову, движется человек: вероятно, преподаватель их. Вся фигура его имеет вопросительное выражение, но в глазах заметно веселье. И еще — он ужасно похож на того, на тренера, из Ленинграда, который умер, — каким-то усталым спокойствием. Только еще не такой седой.

— Куда это вы, дамы и господа, верней — господин, собрались?

Куда-куда — по Риму пройтись, не торчать же в гостинице, вечный город, заниматься и дома можно, на Форум, Капитолийский холм, в Колизей, все выучено, сегодня давайте не репетировать. С нами пойдете — Пьяцца-ди-Популо, Испанская лестница, фонтан Треви.

Чего стоят названия!

— Похвальная любознательность, — кивает преподаватель, тренер, словом — Абрамыч. — А инструменты зачем?

Так ведь это ж Италия, ничего нельзя оставлять, утащат на раз.

— И стул?

Мальчик прихватил из гостиницы стул — обыкновенный стул, как во всех гостиницах. Не играют на виолончели стоя. Ничего, ничего, от Абрамыча не приходится ждать неприятностей. Конец сцены, давайте занавес.

Матвей заразился-таки от последней пьесы, толком им не услышанной, — темпом. Такси, такси!

— Più presto, в аэропорт!

— Какая музыка! — восклицает уже известный ему таксист, смесь английского с итальянским. — Bello! Bellissimo!

По русской привычке Матвей садится рядом с водителем. Поехали! — Самолет когда?

— О! — восклицает таксист, — масса времени! — До аэропорта, до Фьюмичино, всего полчаса. Они заедут сейчас в один дом, надо поздравить крестника. Маттео не против? Таксист с Матвеем уже познакомились.

Рим: не на картинах и фотографиях, а раньше когда-то — прежде Иняза, шахмат, прежде всего — он как будто бы все это знал, вернее — предчувствовал. Особого рода некрашенность стен, вlepленные в них колонны, все разные — что стащили со всякой античности, из того и построили, выступающий угол церкви, белье на веревках — трусы и лифчики, вывешенные напоказ, — известно, чего ожидать, и даже когда ошибаешься, и за поворотом оказывается вовсе не то, что предполагал, ощущение не исчезает — видел, предчувствовал, только не знал подробностей.

Матвей вспоминает квартиру маминой мамы — он помогал ее разбирать: диваны, кресла, книги, картины, иконы, цветы наставлены и навешаны были в ней без зазоров, без пустоты. Так учат детей рисовать: не оставляй белого, все должно быть закрашено.

Что говорит его новый приятель? — Роберто, Марио? — нет, все не то.

— Надо быть осторожней, это Италия. — Наверное, видел, как он деньги ребятам давал.

Вот история: американский спортсмен, бегун, черный, чемпион мира и олимпийских игр, ограблен на огромную сумму — четырнадцать тысяч долларов, что-то вроде того — посреди улицы, на глазах толпы. Маленький мальчик ограбил. Острыми коготками впился чемпиону в руку или даже ее укусил, а из кармана целую пачку денег вытащил.

— И что же, поймали?

— Нет! Убежал! От олимпийского чемпиона! Тот привык — по прямой, а мальчик бежал вот так вот — зигзагами. — Итальянец очень доволен успехом мальчика.

Разговор его перескакивает с одного на другое: Маттео русский, а у него подружка была или есть — украинка. Одной рукой держит руль, а другой показывает — лоб, нос, — декламирует: Лес, полянка, холмик, ямка... Произносит: «полянка», «льес», дотрагивается до выбритой головы. Basta, enough, достаточно: Матвей знает, какие части тела есть у украинки.

Дом как дом: черные ставни на окнах, недоштукатуренная стена. Они несколько раз гудят. К ним выбегает женщина, растрепанная, с полуголым мальчиком на руках.

— Витторио! — женщина звонко целует таксиста, сует ему малыша.

Ага! — таксиста зовут Витторио.

Он показывает ребенка Матвею, угадывает его желание подержать того на руках. Матвей трогает пальчики на ногах мальчика — одинаковые, словно у кого-то на отделку их не хватило терпения, нанесли только прорези на ступнях.

Вскоре крестник возвращен матери.

— Все, забирай!

Она что же, не видит? — они спешат!

У Матвея — всего лишь час, надо успеть поменять деньги, оплатить телефон, маме дать знать, что жив. — Пусть Маттео не беспокоится.

— А это что за громадины?

Оказывается, муссолиниевские постройки: Италия тоже, конечно, видела всякое. Хочется побыть одному, хоть чуть-чуть: театром Матвей на сегодня сыт. Витторио каким-то образом понимает и это — вдруг. Он отвезет его — рядом здесь — на один из холмов, там, в воротах, есть чудо-дырочка. — Что за чудо? — Santo Vico — Святое отверстие, Маттео увидит сам. А как насмотрится — вниз пусть идет, в апельсиновый сад. И Витторио, когда поменяет деньги, заплатит за телефон, ему посигналит — вот так.

Автомобилисты на них оборачиваются, Витторио делает им рукой — а!

Такси поднимается по холму. Какие деревья! Красные, белые — все цветет. Этих деревьев он раньше не видел: олеандр, бугенвиллея — мама потом их ему назовет.

Хорошо бы время текло помедленней. Остановиться, потрогать, хотя бы дотронуться. Темно-зеленая дверь, в двери — дырочка.

— Вниз потом, в сад. Осторожней с котами, — предупреждает Витторио.

Ничего смешного. В римских садах и парках живут коты, боевые, драные, только что на людей не бросаются, их кормят мясными консервами, разве же это правильно?

Пустая площадь, обрамленная белой стеной с лепниной. Надписи, много дат. Как-то обходились римляне без нулей? Мы Дарим Сочные Лимоны, Хватит Всем Их: М — тысяча, D — пятьсот, С — сто.

Матвей уверен, что Витторио не обманул — и в смысле денег, и в смысле чуда. Вот только чтобы увидеть чудо, надо, наверное, быть готовым к нему? Но готовиться нет ни времени, ни терпения, и Матвей заглядывает в отверстие.

Видит — поросший зеленью коридор и в конце, как окно, — проём. И в нем — купол. Сан-Пьетро, Собор Святого Петра. Конечно, Матвей узнал его. А Сан-Пьетро, оказывается, не большой, просто маленький. На фотографиях он производил впечатление чего-то громадного, колоссального. Разумеется, плоское изображение меняет пропорции.

Купол легкий, полупрозрачный, почти что призрачный. Чудо, действительно. Матвей смотрит и смотрит, иногда отрываясь проверить, не ждет ли кто-нибудь очереди. Нет, он один.

Пространство той площади, на которой стоит Матвей, превращается в комнату, тихую, угловую, за ней никаких помещений нет. Есть окно. Он один в бесконечно высокой комнате — у окна в мир. Прежде он ничего подобного не испытывал. Внеположенность: одно из отцовских слов. Так бы Матвей и стоял себе, если б не телефон. Тот ожил. Спасибо, Витторио.

Мама.

— Как ты? — спрашивает Матвей. — Как себя чувствуешь?

— Как-то чувствую, — отвечает мама. — Своеобразно. Ты уже прилетел?

— Я в Риме. Буду сегодня вечером.

Удивляться у нее уже, видно, нет сил. Кто-то опять пришел. Надо дверь открыть.

Он ждет, пока мама вернется, а сам направляется в сад. Комната, где он только что побывал, однажды возникнув, не исчезает в нем. Рим — город-дом.

Мама вернулась. Рассказывает, кто пришел. Незнакомые ему люди.

Москва, говорит она вдруг, так для нее и осталась чужой.

Он не знал. Он думал, что листья, осень... То есть — ничего он на самом деле не думал.

— И куда?.. В Ленинград? Или со мной в Америку?

— Куда скажешь, Матюш. Глава семьи теперь ты.

Они еще поговорят, потом. А сейчас у нее нету времени. Он пусть прилетает скорей, а она пойдет варить кофе — для посетителей. Она сегодня только и делает, что варит кофе.

— Минуточку. Погоди. — Матвею все время приходится помнить, что тут же, неподалеку от мамы, находится мертвое тело отца. А то бы он рассказал ей про многое — хотя бы про то, как ему понравилась музыка, как разнообразны тут формы радости жизни. И про это еще — город-дом.

Она угадывает его мысли:

— Неужели меня может расстроить, что тебе хорошо?

Чуть в стороне от дороги — вход в апельсиновый сад. Ворота, одна из створок закрыта, на стуле — старуха с гроздьями синих вен на ногах. Лицо у нее болезненное, неправильное. Вот, нашлось место и для старухи. Что она делала в прошлой жизни? Сидела записывала, кто когда вышел-пришел? Портреты дуче из пуговиц складывала? Нет, для фашистки она молода.

Другая створка ворот распахнута, Матвей входит в сад.

Апельсины — всюду, на деревьях и под ногами, целые и раздавленные. Мальчик лет четырех-пяти, подбрасывает вверх мяч. Апельсин надеется сбить? Бросить мяч высоко у мальчика не получается.

Матвей трясет дерево, оно не толстое, очень крепкое. Несколько апельсинов падает. Он подбирает две штуки — Витторио и себе. Мальчик на его действия не откликается, продолжает бросать.

Матвей пробует снять с апельсина шкуру, толстую, рыхлую, отделяется шкура с трудом. Выжимает в рот немножко горького сока. Апельсин несъедобный.

Дорожки, скамейки, трава. Котов не видно, куда-то попрятались.

Фонтанчик: каменное сооружение с выступающей из него волчьей металлической головой. Голова покрашена в красный цвет. Вода. Матвей припадает к пасти волчицы и долго пьет. Потом умывается, снова пьет.

Пожилая дама, матрона, вся в черном, ждет, пока он освободит фонтанчик. Неужели она способна согнуться, как он? Нет, дама рукой затыкает волчице пасть, и у той обнаруживается отверстие на переносице, струя направляется вверх. Попила, отошла.

В отличие от того, что часом раньше творилось на площади возле церкви, здесь нет никакого театра, фабулы: старуха, матрона, мальчик с мячом, да и сам Матвей — каждый за чем-то своим явился сюда, в апельсиновый сад. Запечатлеть, запомнить, облечь в слова. Жаль, не умеет он еще ничего толком выразить. Не того ли хотела Марго с ее «живи» и «забуди»? Нет-нет, он не собирается забывать.

Матвей перемещается к границе сада, противоположной от улицы. Невысокое каменное ограждение, дальше — обрыв. Вид на Рим — на мост через реку, зеленую, неширокую — вспоминает: река здесь, конечно же, никудаышная, — на купола соборов, крыши домов. И Сан-Пьетро — на горизонте, занимает малую его часть. Теперь, при сравнении с прочими зданиями, видно: это очень, очень большой храм.

Глубина, высота. И — причастность, присутствие, не чье-то — его, Матвея, присутствие в мире, Матвей — его часть. Странно, он столько делал всего — учился, соревновался, переезжал, — и ничто не давало ему того ощущения собственного присутствия, какое в нем родилось за последний час.

Время совсем замедлилось, почти что остановилось.

Гудки: Витторио. Сейчас, дорогой, сейчас.

Когда он в последний раз испытывал это чувство — даже не радости — ясности, полноты, отчетливости, такое большое, что кажется невозможным, небезопасным удерживать его целиком внутри?

Домашнее задание, этюд: у белых три пешки, у черных — две, одна из которых рвется в ферзи, слон и конь. Белые делают ничью. Матвею лет десять-одиннадцать, он долго думает над этюдом и вдруг понимает, как тот устроен, находит решение. Мама, смотри! Он дрожит от радости: я хожу так и так, пешку не удержать, да только она превращается не в ферзя — в коня! Иначе вилка, ходи за черных! Запирай, запирай короля! А теперь пешку двигай, но в ферзя и тебе превращаться нельзя, будет пат, как же ты ничего не видишь! В ладью, конечно же. Но у меня имеется, между прочим, вот такой ресурс. Чего ты смеешься? Получается что? — Ты выиграл, — улыбается мама. — Нет, ничья! Погляди — два белых коня против твоей ладьи! Совсем другие фигуры, чем были вначале! Здорово, правда же?! Ему и радостно, и досадно — надо на доску смотреть, а она куда?

Теперь шахматные программы решают этюды мгновенно, да и Матвей уже нечувствителен к плоской их красоте.

Витторио гудит, что есть сил. Тише! Silenzio!

Светит солнце, на город и на него. Матвей подставляет лицо лучам, он любит солнце. Честное слово, как будто кто-то лично о нем заботится.

Гудки становятся непрерывными. Матвей машет рукой, бежит.

Кто Матвей по профессии? — спрашивает Витторио по дороге в аэропорт. Он долго думает перед тем, как ответить на этот обыкновенный вопрос. Сам себе удивляясь, произносит: писатель. Хорошо хоть Витторио не спросил, что именно написал Матвей.

Он смотрит в иллюминатор. Вот, Рим понравился, ничего странного. Хотя где угодно, наверное, можно ощутить себя частью целого, да? Матвей закрывает руками лицо. От ладоней пахнет горькими апельсинами.

Когда закончатся отпевание, похороны, пройдут девять дней, уедут родственники, и они останутся с мамой вдвоем, он ее спросит: ты знала?

Она не станет уточнять, о чем именно. Скажет:

— Знала. С самого начала знакомства с твоим отцом.

А как она думает, правильно Матвей сделал, что поменял фамилию?

Мама кивнет.

— Хотя... — улыбнется грустно, — красивая была фамилия.

2011, 2016 гг.